

VERY DANGEROUS!!!

В последнее время в нашем журнализме стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то *развратом* мысли; мы их вовсе не принимаем за выражение общественного мнения, а за наитие *направительного* и *назидательного* ценсурного триумвирата¹.

Чистым литераторам, людям звуков и форм, надоело гражданское направление нашей литературы, их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало "Обломовых" и антологических стихотворений. Если б только единственный "Обломов" не был так непроходимо скучен, то еще это мнение можно бы было им отпустить. Люди не виноваты, когда не имеют сочувствия к жизни, которая возле них ломится, рвется вперед и, сознавая свое страшное положение, начинает, положим, нескладно говорить об нем, но все-таки говорит. Мы видели в Германии всяких Жан-Полей, которые в виду революций и реакций исходили мнением, составляли лексиконы или сочиняли фантастические повести.

Но вот шаг дальше.

Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над *обличительной* литературой, над неудачными опытами *гласности*. И это не то чтоб случайно, но при большом театре ставят особые балаганчики для освистывания первых опытов свободного слова литературы, у которой еще не заросли волосы на полголове, так она недавно сидела в остроге.

Когда товарищи Поэрио, встреченные тысячами и тысячами англичан при въезде в Лондон, не знали, что им сказать, и наконец просили простить их нескладную благодарность, говоря, что они отвыкли вообще от человеческой речи в десятилетних оковах, народ не хохотал им в ответ², и "Пунш"³ смеющийся надо всем на свете, над королевой и парламентом, не сделал карикатуры.

Смех есть вещь судорожная, и на первую минуту человек смеется всему смешному, но бывает вторая минута, в которой он краснеет и презирает и свой смех и того, кто его вызвал. Всего гения Гейне чуть хватило, чтоб покрыть две-три отвратительные шутки над умершим Берне, над Платеном и над одной живой дамой⁴. На время публика отшарахнулась от него, и он помирился с нею только своим необычайным талантом.

Без сомнения, смех одно из самых мощных орудий разрушения; смех Вольтера бил и жег, как молния. От смеха падают идолы, падают венки и оклады, и чудотворная икона делается почернелой и дурно нарисованной картинкой. С этой революционной, нивелирующей силой смех страшно популярен и прилипчив; начавшись в скромном кабинете, он идет расширяющимися кругами до пределов грамотности. Употреблять такое орудие не против нелепой ценсурной тройцы, в которой Тимашев представляет Святой слух, а ее трезубцем, значит участвовать с ней в отравлении мысли.

Мы сами очень хорошо видели промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тут удивительного, что люди, которых всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишком много говорят об этом теперь. Они еще больше молчали об этом!

Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился? Мы безропотно выносили десять лет болтовню о всех петербургских камелиях и аспазиях, которые, во-первых, во всем мире похожи друг на друга, как родные сестры, а во-вторых, имеют то общее свойство с котлетами, что ими можно иногда